

КНИГУ «Прямая линия» мог написать и не Владимир Маканин. Читаешь теперь, и словно водяные знаки проступают: середина шестидесятых, последние триумфы «исповедальной прозы», редущие табунки литературных юношей, ищущих свое место в жизни... «Острой иглою гравера. Точной рукою гримера...» — уж не само ли время водило, представая в облике то «стиля эпохи», то влиятельной литературной моды?

Это оно, время, надиктовало автору сюжетную оппозицию: столкновение баловня судьбы с неудачливым тугодумом, притом, что нравственно тугодум непременно окажется в победителях, — а у, Крылов и Тулин из гранинского романа «Иду на грозу», где вы?.. Оно подсказывало повествовательный тон: сбивчивую, захлебывающуюся, «самоедскую», хотя и не без кокетливого прихорашивания украдкой, исповедь очень молодого человека. Оно обязывало к открытой диспутности, к четкой поляризации точек зрения, тьмы и света, добра и зла...

Конечно, зная позднейшие книги Маканина, нетрудно и в дебютном его романе выделить общие черты. Повнимательнее взглянуть в странноватую — «немодную» тогда — дряблость характера исповедующегося героя... Присмотреться к неодолимости моральных оценок. Зафиксировать неяркость, блеклость красок...

Но все это — собственно маканинское — приходится именно «выделять», прощупывать под плотным массивом грима: литературный макияж, как, впрочем, сплошь и рядом случается с первыми книгами, в неравной схватке одолевает авторское своеобразие.

Маска могла прирасти к лицу: дело обычное. Но не приросла, ибо Владимира Маканина не сбило с толку — а ведь могло и сбить! — ленивое великодушье критики, что, с похвалой отозвавшись о «Прямой линии», тут же отвела молодому автору уютную ячейку на задах «исповедальной прозы». Книжки, последовавшие за дебютом, не оттого ли на долго оказались в тени, вне поля зрения журнальных редакций и критиков, что Маканин занялся не подтверждением сложившейся репутации талантливого продолжателя, а пустился в новый, только ему ведомый путь по своим ориентирам, к своей цели?..

Навык «исповедальности» пригодился лишь раз: когда Маканин в повести «На первом дыхании» окончательно прощался с кругом идей и настроений шестидесятых годов. Голос героя тут сорван, надтреснут и звучит словно бы со старой, порядком уже заезженной пластинки. Автору и смешон молодой человек, отчаянно мучающийся по стране в поисках то ли небывалой любви, то ли высокой, особенной судьбы, и дорог: это ведь и его, автора, юность, и его святыне иллюзии, и его молодая мечта — все в мире перестроить на новый лад, всему дать иную меру, иной — великий — смысл. От собственного прошлого, каким бы оно ни было, грех отказываться — оно было, его уже никому не отнять, и этого довольно. Недаром же в узловых моментах повествования на задышающийся гово-

рок юного Олега накладывается «закадровое» мнение сильного повзрослевшего Олега Нестеровича, что, глядя с позиций сегодняшней бытности, втолковывает собеседнику:

«...ты, друг милый, никогда и никому больше не говори, что в молодые годы ты был глуп и смешон. Это неправда. Говори так: был легковверен. Был искренен. Был смел. Был свободен. Был добр. Был на первом дыхании».

В нынешних героях Владимира Маканина не разберешься, если вынести за скобки не только полуголодное военное и послевоенное детство — тут-то все ясно, но и юность —

брызги этой волны давно опали...» Но сочувствие сочувствием, а позиция позицией: жить в иллюзорном мире, одними лишь золотыми снами пробавляясь, стыдно, да и невозможно. Куда честнее — «лицом к нынешнему», что, может быть, и неказистым кажется в сравнении с грезами, зато обладает авторитетом и весом подлинности. «Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто во-время созрел...»

Не нами установлено, что интереснейший художественно-психологический эффект достигается нередко при обращении к фигурам и ситуациям, находящимся на стыке двух стилей

взрослыми. Лета к жизненной прозе клонят, к обязанностям, а маканинским героям все как-то не удается; неуютно им в собственном возрасте, как неуютно провинциалу в толчее и буче большого города. Вот и суетятся они сверх меры, и трусят, прежде чем принять мало-мальски важное решение, и подлинную любовь — вдруг не будет ее, подлинной? — торопятся заменить хотя бы эрзацем, «отдушиной» — благо, оправдание наготове: «...отдушина как-никак от слова «душа», а «любовь занатого человека» будто бы и может быть только такой — необременительной, незатейливой, вороватой.

Вот и тянет их подглядеть — как это у людей постарше получается с жизнью? Не так ли начинающий беллетрист — герой романа «Портрет и вокруг» подсматривает

чему Алимужкину, ничего путного не выйдет; слишком хлипко он, Ключарев, слишком надежен, чтобы вытянуть ближнего своего из беды (рассказ «Ключарев и Алимужкин»). Нравственных силенок и на самого себя-то едва хватает, куда уж тут о ближнем!.. И без того характер маканинского героя сминается, прогибается при первом же столкновении с посторонней, властной волей — так смиренный прозаик Игорь Петрович в повести «Погоня», превращается в заурядного спекулянта, стоило только предпринимчивой юной даме чуть-чуть прищипнуть на него...

Вот это-то прежде всего и высвечивает Владимир Маканин в своем непростительно инфантильном герое: нестойкость, плавучесть натуры, у которой нет ни нравственного костяка, ни иммунитета, предохраняющего от пошлости, фальши, изменчивости. На драматическом выраже судьбы, в час острого морального выбора такой герой может, пожалуй, и устоять, выдюжить. Но «равнинное», как заметил недавно прозаик А. Курчаткин («АГ», № 37, 1980), течение теперешней жизни нечасто предлагает человеку классическую альтернативу. Выбор, конечно, сохраняет свою силу, но он чаще ступешав, растворен в мелочах, выглядит незначительной и поправимой будто бы уступкой — не более.

И разве не естественно предположить, что герой, заматанный вконец житейскими стремлениями да заводскими, и тут пропустит нужный час, поддастся обстоятельствам, не заметит, что путь его вошел в «полосу обмена» духовных — или хотя бы душевных — благ на вещи более практичные, более уместные в повседневном обиходе.

Легче всего было бы, конечно, Маканину вооружиться вилами сатирика или противопоставить шаткому да валкому полумальчишескому полумужу надежного оппонента — этакого рыцаря без страха и упрека. Но Маканин не склонен упрощать свою писательскую задачу. Не обличать пришел он в литературу, а разбираться, допытываться, понимать. Лишь изредка его взгляд приобретает снисходительную рассеянность: слаб, мол, человек, что уж тут поделаешь... Куда чаще введывая пронизательность соединяется у Маканина с взыскательной точностью оценок. Перелопачивая житейский сор, он все ищет и ищет ценности подлинные, не затронутые ржавчиной, не поврежденные злокозненными обстоятельствами. Важно ведь отличить, что естественно входит «в общий замысел человека» и что от лукавого — от приспособленчества, пошлости, душевной немочи. Важно знать — каков он, нынешний человек, в «незвездные», повседневные свои часы, чему учит его тактика бега на длинные жизненные дистанции.

Кому важно? А всем. Писателю, на наших глазах ведущему напряженный поиск истины. Читателям, расширяющим и уточняющим свое понимание современного общества и современного человека. Литературе, которая, конечно же, стала бы беднее, не звучи в ней честный и ясный голос писателя Владимира Маканина.

Сергей ЧУПРИН



В требовательности к герою, в поиске истинных жизненных ценностей — суть нравственной и творческой позиции Владимира Маканина.

ЖИЗНЬ ВРАСПЛОХ

жизни, двух образов поведения. Таким был Шукшин, по собственному его признанию, «ни городской до конца, ни деревенский уже», «одна нога на берегу, другая в лодке». Таков — по-своему, конечно, — и Владимир Маканин. И не в том даже дело, что большинство его героев — вчерашние провинциалы, горожане в первом поколении. Это тоже важно, но существенно иное: писательская принадлежность Маканина сразу двум поколениям — мятежным юношам рубежа пятидесятых—шестидесятых годов и тем, кто сейчас подбирается к сорока или только-только перевалил этот порог. Смена ценностных критериев, обусловленная временем, оказалась и впрямь столь значительной, что нынешние сорокалетние как бы отстранились от своей юности, почувствовали себя — так в литературе, по крайней мере, — поколением совершенно новым.

Но Маканин-то ведь знает, что имеет дело с одними и теми же людьми, каково бы ни было их социальное самочувствие!.. Он начинает работать там, где авторы «молодежных» повестей пятнадцати — двадцатилетней давности оставались: на черте взрослости, когда и семья появляется, и постоянное место службы, и первый достаток, когда инерция молодости уже иссякает, а новый темп жизни еще не найден. Он пишет о людях, что рассचितывали свой путь «на первом дыхании», со спиритерской скоростью, и вдруг поняли, что жизненная дистанция куда длиннее, чем им мнилось, что тут нахрапом не возьмешь и одним первым дыханием не обойдешься. «Там, в книжках-то, драматургия. И идея, и цель, видимо, какая-то есть... А здесь ведь эпика. И никакой тебе драматургии. Просто живешь. Дело свое делаешь» — вот ведь как грустно теперь размышляется маканинскому герою, принужденному перестраиваться, вырабатывать новую жизненную тактику.

Маканин пишет о людях, которые, и погруженные с годами, и остепенясь, все одно чувствуют себя не слишком-то

за маститым сценаристом П. А. Старохатовым, — осуждая вроде бы предмет своей заинтересованности, а на деле завидуя и примеряясь: получится ли у меня так? неужто и я буду таким же солидным и уверенным в себе? хватит ли у меня силенок на житейскую «эпику»?

Шут его знает, то ли не доглядели маканинские герои в юности, то ли, что вернее, «пересидели в девках», прозевали тот обязательный для каждого час, когда надо оплачивать авансы и брать на себя ответственность за собственную судьбу, не отговариваясь обстоятельствами, не оправдываясь тем, что жизнь едва начата, и все еще впереди, все успеется... Одно ясно: сорокалетние «акселераты», что все еще только примеряются к жизни, выхвачены писателем из самой действительности и обрисованы с впечатляющей достоверностью. Тут можно говорить и о художественном открытии Маканина, и об активной гражданственности его позиции.

Маканин пронизателен и введлив. Ему нет надобности проверять своих ключаревых, стрепетовых, ткачевых в экстремальных ситуациях, хлопотать о насильственной драматизации житейских сюжетов. Зачем? И в условиях самых ординарных, бытовых его герои выявляют себя сполна, означив и степень собственного морального износа, и меру личной порядочности, и «потолок» своих посягательств. Маканин даже не прочь подыгрывать своим героям: принять в расчет «самотечность» жизненного потока, с которым не совладать робкому плывцу; вслушаться в оправдания и уверения; приязненно отнестись к благим намерениям и чистым помыслам.

И намерения, и помыслы действительно есть, как им не быть у людей, в общем-то, неплохих, совестливых, думающих?.. Беда в том лишь, что ни одно из этих намерений не выдерживает испытания житейской практикой. Как бы ни хотел, например, благополучный Ключарев помочь гибну-

шальную, лихорадочно-мятежную, прекраснотушную, если вычеркнуть из биографии теперешних погрязневших, обремененных семей и службой сорокалетних мужчин ту краткую пору, когда верилось: «Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни...» По-всякому она, конечно, складывается, жизнь, но в каждом из маканинских героев на доньшке, как мысль о малой родине, как память о пахучем, колючем хлебном довеске, теплится и это: «Я мчался. Никаких сомнений или отсловений в интонации. Никаких колебаний. Я бежал. Я любил. Все четко и ясно».

Без прошлого не проживешь. Но и одним прошлым жив не будешь. Слово бы в доказательство этой существенной для его поколения аксиомы Маканин пишет «Повесть о Старом Поселке». Повесть об инженере Ключареве, от любви передергав спасающегося воспоминаниями о том, как здорово ему, пацану, жилось в барачном раю Старого Поселка, где ведьать не ведали ни о какой разобщенности, скуке, душевной истоме, где весело и круто играли страсти, до боли не схожие с отцеженными переживаниями нынешнего горожанина средней руки. Повесть о мечте, что знает при всякой встрече с будничной реальностью хорошего семьянина и примерного служащего. Повесть о том, наконец, как Ключарев сорвался-таки в Старый Поселок и не нашел там ничего — только «настораживающую пустоту» брошенного людьми жилья, только «остатки остатков», не predisполагающие даже к ностальгической грусти...

Авторское сочувствие герою несомненно — и он из той волны, что «давно перестала быть волной, кончилась или, скажем, растеклась. И даже